

Орджюза  
Кензина



## ДЕРЕВНЯ

Это самая настоящая деревня, а точнее, село. Места здесь очень красивые; даже старожилы, родившиеся и прожившие тут всю свою жизнь, говорят с искренним и гордым чувством, что такой природы нигде больше нет, ни в какой хваленной и прекрасной Швейцарии. А казалось бы, глаз должен привыкнуть и давным-давно не замечать окружающую красоту... С трех сторон село подковной обступают горы; две реки, а вернее, речки, обозначают естественные противоположные границы села.

Одна река, Тескентерек, мелкая, в некоторых местах широкая и тихая, течет и течет себе по каменистому дну, несет свои теплые воды и радуется сельчан: все лето купается в ней и ловит мелкую рыбешку деревенская детвора; какой-нибудь местный шофер, заехав чуть не на самую середину реки и стоя по щиколотки в теплой воде, моет свою машину; а в болотистых заводях растет густой и высокий камыш.

А другая река, Коктал, бурная, вырывается прямо с гор, чистая и ледяная, и обжигает лицо и руки, и сводит зубы, когда хочешь напиться, зачерпнув в пригоршню ее прозрачную, сильную и хлесткую волну. Раз в несколько лет шуга идет по этой реке, и никто не спит в эту ночь – грохот будит всех; кажется, что дрожит сама земля, а это поднявшийся на дыбы Коктал рвет преграду из ледяных глыб, тащит огромные валуны, с корнем вырывает мощные деревья, меняет русло; со страхом толпятся перепуганные жители и смотрят, как на глазах у них уплывает огромный стог сена, мычит унесенный потоком теленок, и голова его мгновенно исчезает в водовороте, и секунду еще крутятся и мелькают в пене его тонкие, как веревочки, ноги с копытцами, рушится стена дома, обваливаются сараи... Река меняет русло, как ей вздумается, не спросив господина, царя и хозяина природы – как думает о себе человек, трясаясь хуже букашки перед мощью и непокорностью самой обыкновенной речки – Коктал, о которой даже мало кто знает...

Когда-то село было большое и богатое, это видно по старинным домам – все еще добротным, под железной шатровой крышей, с высоким деревянным крыльцом, со ставнями на окнах, кое-где сохранившими старинную резьбу. Жили тут в основном казаки, и фамилии до сих пор звучат казацкие: Бедаревы, Орловы, Афтайкины, Зайцевы, Исютины, Вахтины, Силины – их обмельчавшие и поредевшие потомки и сейчас живут в селе. По сей день сохранилась застава – то есть разрушенные



остатки от нее; медведи, бывало, забредали до самой окраины села, и местные жители рассказывают историю, как однажды пограничник подстрелил медведя – подстрелил, но не застрелил до конца, и притворившийся мертвым медведь разорвал пограничника, когда тот близко подошел к нему; и сохранился памятник со стершейся надписью на могиле этого пограничника, и редкая железная оградка... Здесь просторы, поля, леса и бесчисленные ручьи, так уютно и весело, словно играясь и прячась, снующие вдоль улиц и прорезающие рощицы, тропинки и дороги. Здесь море трав, пахучих, пронизанных солнцем, пропитанных ароматом воздуха, нетронутой первобытной земли и чистой, как родник, воды; косою косить эти травы – не выкосить... Здесь горы, как на ладони, снизу заросшие светлыми белыми березками, и чем выше, тем гуще стоят на склонах густые и стройные зеленые ели. Небо здесь синее и чистое, и только грозная сизая туча, словно зацепившись, то и дело висит и клубится на самой вершине самой высокой горы. Время здесь не движется, и длинное, длинное утро плавно и незаметно переходит в бесконечный день, и долго-долго не наступает вечер...

Когда-то в этом селе жили одни казаки. Но постепенно из другого села, вернее аула, который располагался выше, через речку, сюда стали семьями переселяться казахи, и казахский аул исчез; исчез и крепкий мост через Коктал, и остались от него только полуразрушенные доски с поваленным на них потоком толстым деревом, цепляясь за ветки которого можно перейти на ту сторону, когда вода в реке спадает.

Как только казахи переселились в село, казаки быстро заговорили по-казахски, а казахи по-русски. Идешь по улице – и вдруг видишь такого белобрысо-белого, облупленного на солнце, шустро и юркого мальчишку, который смотрит на тебя небесными голубыми глазами и озорно прячется за юбку сестры, тоже похожей на Аленушку из сказки, с такими же льняными волосами и светлым голубым взглядом. И тут же черноголовый казачонок играет возле арыка, краснощекий и круглолицый, его черные глаза блестят, как бусинки, рот маленький, носа и не видно из-за толстых щек...

Первый раз мы попали в это село лет десять назад. Я и сейчас помню этот день – яркий и солнечный летний день, но без изматывающей жары, потому что ветерок так приятно обвевал и охлаждал разгоряченные лица, трепал одежду и волосы. Мы въехали в село: заросшие вековыми деревьями и высокой травой прямые улицы; дороги, утопанные копытами коров и лошадей; дома, чисто побеленные, с воротами, словно только что выкрашенными яркой голубой краской. Глухих заборов нет: металлическая сетка или длинные жерди отгораживают дворы друг от друга и от улицы. Редкий прохожий оглядывается на нашу машину, с любопытством провожает глазами. Мы едем медленно, на шум воды, и останавливаемся в самом конце улицы. Дальше крутой заросший склон, и там бурлит река Коктал; к реке ведет узкая протоптанная тропинка, с двух сторон которой стеной стоит крапива, и так страшно обжечься об нее.

Мы поставили машину почти впритык к забору, за которым виднелся большой добротный старый белый дом. Услышав шум подъехавшей машины, из калитки тут же выскочила девочка-казашка лет семи; круглолицая, с красными и толстыми щеками, с мелким носиком и маленькими губками, потерявшимися в этих щеках, с любопытными глазками, которыми она смотрела на нас, была она похожа на

куклу. Сама маленькая, но коса у нее густая, тугая и длинная, как у взрослой или как приделывают в магазинах куклам. Следом за ней из калитки вышла старая женщина; потому старая, что на ней была одежда, которую носят старушки: длинное просторное платье со складками от груди, бархатная безрукавка, украшенная орнаментом, платок на голове, на ногах мягкие растоптанные ичиги; но лицо ее, румяное, свежее, полное и потому без морщин, казалось молодым. Она посмотрела на нас с таким же любопытством, как и ее внучка; мы поздоровались, чувствуя, что нас тянет друг к другу; она спросила, кто мы и к кому приехали. Что могли ответить городские жители – мы сказали, что приехали на экскурсию и хотим спуститься к реке. «Гулистан вас проводит, – сказала бабушка. – Гулистан, покажи гостям дорогу к реке», – велела внучке. Мы уже были гости, нас уже звали пить чай.

Когда мы вернулись с прогулки – Гулистан провела нас еще и в рощицу, которую мы обогнули и поднялись к дому уже по другой тропинке, – бабушка ждала нас, выглядывая из калитки. Мы зашли во двор и увидели большой дом, высокую клумбу, которая тянулась почти по всей длине дома – на клумбе росли прямые, крепкие, сочные цветы неведомых нам названий, в них копошились пчелы; крыльцо с деревянными ступеньками; несколько построек – кладовок и сараев, а дальше тянулся обширнейший огород; другая часть двора была скрыта за домом и летней кухней, и оттуда доносилось кудахтанье кур. Бабушка провела нас в летнюю кухню, довольно просторную и чистенькую, с маленькой верандочкой с висевшим на стене умывальником и зеркальцем над ним; стены верандочки были выкрашены голубой краской, а пол и две ступеньки – коричневой. Мы зашли внутрь кухни; огромный самовар гостеприимно шумел уже на табурете в углу длинного стола, вдоль стены стоял громоздкий диван, несколько старых стульев. Нас, как почетных гостей, усадили на диван, и мы оказались за столом. Чего только не было на этом столе – глаза разбегались! Особенно наши городские глаза. Тут была домашняя сметана двух видов – свежая, от утренней дойки, жидкая и сладкая, и старая, превратившаяся в масло, жирная и желтая, ложкой не возьмешь; земляничное варенье, вишневое варенье и еще малиновое. Хлеб, белый и пышный, нарезанный крупными ломтями; на двух тарелках горками высились жареные кружочки; конфеты в вазочке, сахар. Меня удивила килька в томате, выложенная в две тарелочки из только что открытых консервных банок – видимо, специально для нас. Гулистанка с удовольствием ела эту кильку, как редкость, а мы, городские жители, даже не притронулись...

Бабушка начала разливать чай. Чай из самовара, с домашним кипяченым молоком, красный, ароматный до того, что запах этого чая висел в воздухе. Нигде больше не пили мы такого чая; наверное, в других местах, и особенно в городе, или вода не та, или молоко не то, или самовар, то есть чайник, не тот... Или все вместе? Мы пили чай, ели хлеб со сметаной – и со свежей, и с превратившейся в масло, и с душистым земляничным вареньем, и было очень вкусно; мы наесться не могли. Мы не могли напиться чая, да еще бабушка наливала на доньшке. Без конца протягивать пиалку было неудобно, и я говорила: «Мне можно попопнее...» Но бабушка наливала так, как наливала.

Наконец я решила попробовать жареные кружочки, хотя уже была сыта сметаной и густым чаем. «А это что?» – спросила я, беря вилкой тонкий кружочек. «Котлеты, из печени». Услышав про печень, я откусила кусочек и чуть язык не проглотила, до того это было вкусно. Я тут же спросила рецепт – одна баранья печень, три карто-

фелины, три луковицы – через мясорубку, три сырых яйца, стакан молока, стакан муки, перец, соль – все перемешать и жарить на сковороде, как оладьи. «Можно и морковь добавить», – говорила бабушка. «Чем куда-то ездить, по всяким заграницам, – искренне сказала я, – лучше сюда приезжать каждое лето, на неделю, на две, и жить... купить домик. Трав собирать. Не знаю, но я бы с удовольствием... А здесь можно купить домик, продают?» «Ой, продают! – сказала бабушка. – Много продают. Даже хозяина не всегда найдешь, уехал или в Талды-Курган, или в Алма-Ату, много стоят заколоченные... Вон, через два дома от нас – Гулистан вам покажет – кемпирбаевский дом, уже двадцать лет, наверное, пустой стоит... Кемпирбай как умер, жена его, Кульгазира, к дочке уехала, около Алма-Аты. Брат ее здесь живет, можно у него узнать, Гулистан сходит позовет его, если вам надо...»

Но нам было любопытно сначала посмотреть на дом Кемпирбая. Гулистан повела нас. Это было совсем рядом. Мы шли по утоптанной дороге, слева от нас шумела под крутым спуском река, справа стоял заброшенный дом с редкой изгородью, с постройками... Я с любопытством посмотрела на дом и постройки. «Нет, не этот, – сказала Гулистан. – Вон тот, который впереди, за деревьями... сейчас видно будет» А впереди были густейшие заросли крапивы и еще каких-то растений, и мощные березы с белыми стволами стояли в ряд перед редкой деревянной изгородью; изгородь вся была опутана хмелем и вьюнами. Мы подошли ближе и увидели большие широкие ворота – высокие, из посеревших от времени толстых досок; со скрипом открыли одну половину ворот и вошли внутрь; квадратный, просторный, залитый солнцем двор со всех четырех сторон был окружен постройками. С одной стороны стоял сам дом – крепкий пока, под железной шатровой крышей, со ставнями на окнах; вдоль дома тянулась длинная веранда с заколоченной дверью, с окнами в частом деревянном переплетении; покосившееся крыльцо с шаткими перилами, с провалившимися ступеньками, и трава проросла в образовавшихся провалах... Веранда, стенки и перила крыльца были выкрашены голубой краской, которая сохранилась, несмотря на время.

Вторую сторону квадратного двора образовывали постройки – тут и саран, и кладовки, и какие-то непонятные помещения; дверей было несколько, на некоторых висели ржавые замки, на некоторых нет; мы открыли одну незапертую дверь и заглянули внутрь – тяжелая паутина, как бахрома, свисала с потолка темной и узкой кладовки, мрачно, на полу хлам под толстым слоем пыли, тянуло промозглым холодом с углов. Мы заглянули и в большой сарай – задняя стена сарая обвалилась, и высокая трава полностью закрывала просвет от рухнувшей стены.

Мы пошли дальше: третья сторона квадрата – это аккуратный небольшой домик или летняя кухня, тоже с верандочкой. Дверь была прикручена проволокой, которую мы открутили на правах потенциальных покупателей, и зашли внутрь. Когда-то это был уютный домик; в первой комнате в углу была печь; мы открыли дверцу и заглянули в печку – хоть сейчас заноси дрова и разжигай; тюль висела на окошке вместе с длинной серой паутиной; на подоконнике валялись сухие мухи; у стены голая железная кровать с панцирной сеткой; пол был деревянный, крепкий, коричневого цвета, только в углу, под окном, зияла дыра – наверное, мышка прогрызла и поселилась там в норке. Дверь из первой комнаты вела во вторую; эта комната была побольше, с двумя окошками, на них также висела тюль; пол такой же добротный, деревянный, и везде пыль, везде паутина, везде кучками валялись сухие мухи...

Четвертая сторона двора – просторный сараище без двери и баня, тоже без двери. Мы заглянули в сарай; несколько коров с телятами мирно отдыхали там в тени, лежа на земле; они равнодушно посмотрели на нас, а мы посмотрели на них и засмеялись – так по-хозяйски, уверенно обосновались они в этом сарае, и видно было, что это их обжитое место. Два или три теленка хотели было встать на ножки, забеспокоившись, но мы сказали им: «Лежите, лежите...» – даже если мы и купим этот дом, то прогонять коров и телят мы вряд ли станем... Дальше была баня; хуже нет вида, чем заброшенная баня; большая печь, покрытая слоем глинистой пыли, два отделения – раздевалка и мойка вместе с парилкой, сохранились даже белые валуны, на которые плескали кипящую воду. Я представляла себе, как в этой печи когда-то с треском горели дрова, как дым вился над крышей, как то и дело одни выходят из бани с полотенцами на головах, красные и распаренные, а другие заходят с бельем под мышкой; здесь мылись, здесь купали детей...

Мы постояли посреди двора: коровы и телята вытоптали землю, и трава тут росла низкая, но густая, была она темно-зеленая, сочная и полностью опутывала землю; собачья будка стояла в сторонке, с длинной цепью на прибитом колышке, и тянулась проволока для этой цепи. Кемпирбаевский участок был очень большой, и плавно спускался до самой реки: упорный и нескончаемый глухой шум бурлящей воды доносился до нас; был яблоневый сад с корявыми древними яблонями, с яблоками, редко висевшими на обломанных ветках; было открытое солнечное поле – сажать картошку, сажать ту же морковь... Когда-то тут жили люди, и жили неплохо. Потом нам рассказали, что Кемпирбай был самый зажиточный, крепкий хозяин, держал пасеку; а яблоки в его саду не давали местным мальчишкам спать по ночам – ни у кого в целом селе не было таких вкусных яблок.

И если покупать в этом селе дом, то только дом Кемпирбая. И мы купили его – за чисто символическую плату.

Теперь мы каждое лето приезжали сюда. Чего только не везли с собой: чайник, казан, тарелки-ложки, свечи (электричество было, но мало ли что), матрас, подушки, одеяла; но больше всего мы набирали с собой теплой одежды; невозможно было представить себе, что среди лета могут быть такие холодные ночи; днем солнечно и жарко, но стоило только солнцу перегнуться поближе к западу, как жара словно улетучивалась, и становилось все прохладнее и прохладнее, а когда солнце окончательно скатывалось за горизонт, то пронизывающий холодный ветер пробирал до костей; мы кутались в теплые кофты, надевали теплые штаны, шерстяные носки, на головы шапки... Мы выходили ночью во двор и смотрели на небо.

А небо – словно все звезды Вселенной собрались над нашим селом; все небо было в звездах; они мерцали, совсем близкие, крупные и яркие, прямо над головой; они светились, далекие и туманные, густо-густо усеяв небо – звезде некуда было упасть на этом небе; мы видели Большую Медведицу, видели Малую Медведицу, мы видели Млечный Путь; мы видели, как, прорезая яркую черту, стремительно падает звезда, и сколько загадали мы тогда желаний; да исполнись хоть одно, и то хватило бы нам на всю жизнь и на всех сразу; мы видели, как движется и мерцает живая точка – это летит спутник; мы смотрели на небо до тех пор, пока в душе не начинало расти тягучее, непонятное нам, непостижимое для нас ощущение безначальности и бесконечности, беспредельности и безграничности мира, миров, Вселенной, то ощущение, что заставляло, наверное, первых астрономов просиживать

все ночи напролет и не отрываясь смотреть на звезды в примитивную подозрную трубу, и что видели они – они, гении, если даже нас, совсем не астрономов, начинала пробирать дрожь...

Хозяйки в селе встают затемно; им нужно подоить коров, выгнать их в стадо; и вообще дел у них много, незаметных и нескончаемых домашних дел; да еще какой-нибудь внучок или внучка, а то и несколько, отдан ей на воспитание уехавшими в город и занятыми по горло сыном или дочкой. Внучок этот, вместо того чтобы поспать подольше, открывает глаза вместе с бабушкой и как привязанный ходит за ней; а она уже подоила корову, уже вскипятила молоко и теперь дует на него, чтобы оно побыстрее остыло; а внучок хнычет и топает от нетерпения ногами и тянет к ней руки; остудив молоко до нужной температуры, бабушка сует ему теплую полную бутылочку, которую он хватает двумя руками и одним махом выдувает половину, закатив от удовольствия глаза; тут он останавливается, отрывается от бутылки и с шумом переводит дыхание и тут же снова вцепляется в бутылку, и уже до конца, пока она не опустеет; он краснощекий, сопливый, он закутан в теплые куртки, шапки и штаны – с утра холодно, у него блестящие узенькие черные глазки, несмотря на то что бабушка его – голубоглазая и светлая; она совсем не старая, но вся жизнь отпечаталась на ее лице, читается в ее глазах, и ей давно уже пора вставить себе зубы. Зовут ее Валентина. Муж у нее казах, и у них четверо детей и много внуков. Она наливает в опустевшую бутылку еще молока и снова дает внуку; но он уже насытился, он довольный, и то играет с бутылкой, то соснет разок-другой, то начинает совать свою бутылочку всем подряд – даже кошке...

В первых числах июля поспеваает земляника; она растет везде – в лесу, на пригорках, на склонах, на открытых и ровных полях и лужайках... Все жители села собирают землянику, сушат ее, варят варенье. Наша Валентина сушеную землянику хранит в матерчатых мешочках, подвешенных к потолку, и столько висит у нее этих мешочков... Век земляники – ровно две недели, и за эти две недели надо не упустить ни один солнечный день: дожди идут часто, и часто затяжные, несмотря на то что на дворе середина лета...

Когда мы приезжаем в село, первым делом, даже не разгрузив машину «у себя», поворачиваем к дому бабушки Жумагуль и ее внучки Гулистан. Хотя это дом сына, а она каждое лето вместе с дедом живет здесь; деда почти не видно и не слышно; он всегда сидит в сторонке, в тени под деревьями, на скамейке, уютно и заботливо накрытой корпешкой. Дед бодрый, он бывший охотник; он хорошо выглядит; все лето пьет парное кобылье молоко, которое доит для него сноха, жена сына. Держит он себя с достоинством, всегда аккуратно одет; мы здороваемся с ним первым, подойдя к его скамейке или застав на улице, когда он неторопливо прохаживается перед домом, заложив руки за спину и поглядывая по сторонам зоркими глазами; он невольно внушает к себе уважение...

Заслышав нашу машину, из дома первой выбегает Гулистанка – это наша подружка; за ней идет бабушка – ей любопытно, кто приехал; а потом уже сам хозяин, хозяйка. От их гостеприимства можно растаять: тут же ставится самовар, и вот уже дымок вьется из трубы, и мы уже предвкушаем чай, какого нигде в мире больше нет – это точно. А пока мы выгружаем из багажника несколько арбузов, две-три дыни, огурцы и помидоры – все это мы купили по дороге, на стихийных овощных точках

вдоль трассы; и обязательно большая пачка чая – для бабушки и коробка конфет хозяйке. Хозяйку зовут Гульнара; она краснощекая – Гулистанка в нее, – сбитая, энергичная женщина; у нее приятные черты лица. Она неутомимая труженица; в доме у нее чистота и порядок; ни разу еще не было, чтобы мы, приехав, застали бы пустой стол – стол у нее ломится; она сама печет хлеб, лепешки и баурсаки; у нее всегда в холодной кладовке есть айран в большой кастрюле; у нее всегда готовая еда – сколько бешбармака, сколько сурне, сколько лагмана и домашней лапши съели мы у ней! А ее рулеты с жусаем, сваренные на пару! Про сметану и сливки мы уже говорили – это было в первый наш приезд в село, когда дома были только бабушка и маленькая Гулистанка, а Гульнара и ее муж уезжали по делам в соседний город. Оба они работают учителями в сельской школе, и летом у них отпуск. То есть самая горячая пора; никогда ни одна хозяйка в городе не делает столько запасов на зиму, сколько делают хозяйки в селе. Сюда на старых, разбитых машинах, нагруженных до верха и осевших до земли, привозят все, что пользуется спросом и здесь не растет: абрикосы, малину, помидоры, огурцы, лук, болгарский перец, чеснок... Всё село в такие дни похоже на растревоженный муравейник – все бегут к машине с ведрами, с кошелками, раскупают всё очень быстро, все толкуются, спрашивают у шофера – он же и продавец, – когда он снова приедет, и заказывают ему, кому что привезти в следующий раз. Хозяйки огромными тазами варят «кобру», солят помидоры и огурцы не меньше, чем по сто банок, заготавливают варенье нескольких видов; картошка у каждого своя, хранится в погребе под самую завязку, вкусная до того, что можно отварить и есть просто так, даже без соли; а если с домашним сливочным маслом, с «коброй», с солеными огурчиками да помидорами... а потом чай из самовара, а к чаю душистый мед, и ароматная земляника, и желтые и сладкие свежие сливки... А что еще делать длинными зимними вечерами, когда на дворе снег такой, что крышу занесло, что мутный свет еле-еле просвечивает в окошке даже днем?

Но все эти запасы – не только для себя; то и дело наезжают из города дети, и банками забирают с собой не просто еду, а заботу и жалость матери, ее тревогу, чтобы не были ее сын или дочка голодными там, в городе, чтобы каждый день, но что-нибудь да было у них на столе.

Но привозят в село не только овощи и фрукты. Я сама видела, как две молодые женщины на стареньких «жигулях» ездили по улицам и предлагали жителям «тысячу мелочей» – перечислить невозможно, чем был загружен их багажник: тазы, ведра, казаны, ножи, вплоть до ниток и иголок, а еще полотенца, халаты и другое мелкое тряпье; все это они и продавали за деньги, и меняли на сметану, мед и яйца. Сельчане по одному подходили к машине, приценивались, присматривались, перебирали то, перебирали другое – и отходили; ни разу я не видела, чтобы хоть кто-то хоть что-то купил или поменял... А «жигули» все ездили и ездили по селу из конца в конец, останавливаясь посреди улиц и зазывая покупателей; одна из продавщиц, совсем молоденькая, была беременна на последнем месяце, у нее был огромный живот, до которого, казалось, ей не было никакого дела. Она внимания не обращала на свой живот. И поневоле в голову приходила мысль – а если поломаются их старенькие «жигули», а если начнутся схватки – да хорошо, если в селе; а если посреди дороги, в пустынном месте – у нас такая обширная страна, что будешь ехать и ехать и не встретишь ни души, ни жилья, не встретишь ничего...

У некоторых сельчан можно увидеть во дворах большие корыта, полные замоченных грибов – грибов здесь море, только не ленись; их тоже солят на зиму. Мы купили как-то у одной хозяйки баночку соленых грибов; когда зашли к ней во двор, увидели штук пять или шесть больших синих пластмассовых бочек – эти предприимчивые муж и жена все лето собирали грибы и солили, и возили продавать в Алма-Ату и в Талды-Курган; а потом уже оптовики сами стали приезжать к ним в село и забирать бочками соленые грибы. Приятно было смотреть на этих мужа и жену – энергия так и кипела в них; они продавали и мед – у них была пасека; оба крепкие, в теле, все так и горело у них в руках; видно было, что они довольны собой, своим трудом. В селе, как и везде на свете, нужно работать, чтобы жить...

Купив кемпирбаевский дом, мы зашли внутрь, обследовали его и снова заколо-тили дверь; три большие комнаты, паровое отопление – все сохранилось в целости. Печка в отдельной каморке, добротный деревянный пол, окна, закрытые ставнями, толстые стены – и все это словно застыло в ожидании хозяев; и отремонтировать бы все это, да приезжать на лето, да жить в свое удовольствие; но это планы на потом – как мы любим...

А пока мы заселились в летней кухне во дворе; мы вымели паутину с мухами, перемыли пол и застелили покрывалами и матрасами; мы ели, и пили, и спали на полу; днем мы собирали обломанные сучья, ветки, кизяк – все это в изобилии валяется под ногами, – и вечерами растапливали печь. Нет приятнее зрелища, чем наваленные перед печью дрова, чем жарко пылающий очаг... жизнью веет от этой картины! На дворе резко холодало, дул порывистый ветер и нагонял тучи, а мы закрывали дверь и растапливали печь. Мы сидели на полу, на толстых матрасах, огонь гудел в печи, с треском горели дрова, и тепло волнами расходилось по всему домику; чайник уютно кипел и посвистывал на краешке плиты, пар вырывался из казана, в котором аппетитно варилась самая вкусная на свете картошка.

Электрическая лампочка свисала с потолка, но стоило только ее включить, как оживали большие мухи; мух этих мы перебили огромное количество, а остальных всех выгнали на холод. Днем мы прошлись по селу, и теперь у нас было молоко, сметана, и теплые яйца из-под курицы, и даже мед. У многих есть пасеки, и мы покупаем мед у них. И вот мы садимся на расстеленные на полу матрасы и покрывала, садимся тесно, вокруг «стола», на котором дымится картошка в мундире, сваренные всмятку яйца, хлеб белый и пышный, соль в баночке... Мы завариваем чай, точь-в-точь как у Гульнары, едим картошку со свежей домашней сметаной, едим яйца, у которых желтки горят ярко-желтым цветом, пьем чай с молоком, похожим на сливки, с душистым медом и с земляничным вареньем... и не хочется никаких конфет, не хочется даже халвы и всяких печений, которые мы с таким вождением везли с собой из города...

А в печке пылают дрова, и чувствуешь приятное и жгучее тепло, а за окошком густая темень, и ветер со свистом качает деревья, и слышно, как они шумят и гнутся своими вершинами. И вот уже дождь зашуршал по траве, и редкие капли стучат и бьются об стекло... и кажется, что нет на свете ничего уютнее нашего домика, нашей пылающей печки, вкуснее нашей картошки с домашней сметаной. А если достать припасенную бутылочку, и выпить рюмочку-другую...

Иногда прибегает Гулистанка и зовет нас в гости – это родители послали ее за нами. И мы идем к ним с удовольствием; на кухне уже шумит самовар на своем всегдашнем табурете, а посередине стола – огромное блюдо с бешбармаком; мясо – бараньи ребра, тонкие, как мизинец ребенка, и жирные нежным жирком; здесь и перевитые кишки, и печень, и желудок; а еще фазаньи куски, большая белая грудка, и не поймешь, что вкуснее – фазан, бараньи ребра, печень или все остальное; нет, в селе определенно есть такие плюсы, и так их много... Но в селе, как и везде на свете, нужно работать, чтобы жить.

Хозяйка, Гульнара, весь день трудилась – это видно по ее потному, раскрасневшемуся лицу, по ее напряженной фигуре – она готова соскочить с места в любую секунду и переделать все, что под рукой; хозяин дома, Амир, недавно вернулся с сенокоса; он косит с младшим сыном; старший сын у них в Талды-Кургане, учится в колледже, а летом у него практика. Он приезжает домой нечасто и всегда ненадолго, и Гульнара не может нарадоваться и насмотреться на него. Он помогает по хозяйству, и это и есть его каникулы. Дед и бабушка Жумагуль уехали в Алма-Ату, они живут в микрорайоне вместе с дочерью и внуком, ее сыном; квартиру дед оформил на дочь, а сам должен вскоре получить другую как участник войны – для этого он и уехал в город, собирать документы и справки; эту другую он потом оформит на внука, для которого и старается. Как не уважать такого отца и деда! Ему уже много лет, и у него большой жизненный опыт; он и сейчас многое видит и слышит, и знает – хотя дети его давным-давно уже взрослые и сами имеют детей, а без его помощи вряд ли обойдутся; и как не позаботиться ему о дочке и внуке – да у нас ни один самый последний алкаш не поймет такого отца и деда...

Мы садимся за стол; хозяин дома, Амир, в отличие от своей жены, спокойный и расслабленный; он знает, что все дела на сегодняшний день у него переделаны, и теперь он может позволить себе отдыхать. Это женщина никогда не знает покоя и отдыха: ей надо перемыть посуду, все убрать, все распределить, ничего не должно пропасть, прокиснуть; хлеб не должен зачерстветь – убрать в кастрюлю и накрыть, и вынести в кладовку на холод; и айран не забыть вынести туда же; трудовой день у хозяйки нескончаемый. У Амира нет таких забот; хозяйство у него крепкое, и лошади давно в загоне, коровы подоены и жуют сено в коровнике; куры спят на насесте или в гнезде на яйцах, и над каждым гнездом его рукою выведена карандашная надпись на деревянной стене – какого числа и какого месяца села курица выводить цыплят; несколько таких гнезд с надписями мы видели у него в сарае; собакам вынесены помой – и все довольны. Амир – охотник, так же как и его отец. Он знает все повадки зверей и птиц; фазаны – это его добыча (невероятно вкусная добыча!). Когда съеден бешбармак, выпито полсамовара чая, а еще и рюмочка-другая пропущена под настроение, Амир начинает рассказывать охотничьи истории. Он рассказывает про лисиц – не зря лисицу называют хитрой, она видит капкан, видит приманку в капкане, и ждет... она не подойдет первая к незнакомому и наверняка опасному месту; пусть сначала кто-нибудь попадет в капкан, та же птица, и тогда она съест и приманку, и попавшуюся птицу; она очень осторожная, знает свои следы и каждый раз ступает точно по ним. Он рассказал нам удивительную историю про жизнь волков в стае; невозможно даже поверить, чтобы так было на самом деле.

Когда подрастает молодая волчица, мать и отец, материцы волки, «выдают» ее замуж. Для этого они ведут ее в другую стаю, за много километров; они идут

несколько дней, без отдыха, и не охотятся по пути; они питаются тем, что приготовили и спрятали в укромных местах специально для них другие волки, они находят эти запасы еды, а вернее, каким-то чутьем угадывают, где они спрятаны. Каждое их передвижение становится известно стае, которая их ждет. Как передают волки друг другу информацию, как сообщают друг другу о приближении «сватов» и «невесты» – уму непостижимо; но другая стая знает и ждет их, и даже выходит им навстречу, когда они подходят уже совсем близко...

Амир и Гульнара работают учителями в школе; школа, старинной постройки, уютно расположилась в самом центре села; это несколько одноэтажных длинных строений, всегда чистенько побеленных, с заботливо вычерненным блестящим фундаментом; в школьном дворе очень зелено, растут раскидистые деревья, клумбы и цветники. Школа производит приятное впечатление, и мы, проходя мимо, всегда с любопытством засматриваемся на школьный двор. Гульнара говорит, что благодаря работе в школе они с мужем каждый месяц получают зарплату, и у них есть хоть какие-то деньги, а без денег и в селе трудно. «А у кого нет работы, им как? – говорила Гульнара и добавляла: – Если школу закроют, мы уедем отсюда... в город уедем...» «Почему же школу закроют?» – не понимали мы. «Учеников мало, не хватает. В этом году в десятом классе всего три выпускника было. А на будущий год уже только двое будут выпускаться – наш сын и еще одна соседская девочка... Нет, если работы не будет, то мы уедем отсюда». – «А как же дом? А лошади ваши? У вас же сена только сколько, стога у вас вон какие...» Гульнара пожимает плечами. «Продадим...» – говорит она...

Мы каждый день гуляем по селу, то есть или идем за яйцами к Афтайкиной, или за медом к Орловой, или за хлебом в местный магазинчик. Про местные магазинчики особый разговор – они малюсенькие и тесные, и их два или три по селу, и хозяева ужасно боятся появления незнакомых людей. Конечно, никакой вывески, ничего нет – просто дверь, всегда закрытая, и нужно покричать и постучать в калитку, чтобы кто-нибудь вышел и впустил нас в свой магазинчик; здесь мы покупаем хлеб, печенье, а иногда, соскучившись, и колбасу; правда, колбасу мы видели в магазинчике всего один раз и один раз же и купили, и то Гулистанкина собака не дала нам ее не только съесть, но и спокойно донести до дома: учуяла запах и давай крутиться и принюхиваться к пакету, где лежала колбаса, ну мы всю дорогу и отрывали ей по кусочку; зато теперь преданнее и надежнее этой собаки нет у нас сторожа. Товар в магазинчике могут отпустить и дети постарше, если родителей нет дома. Одна девочка объяснила нам: «А мы сначала подумали на вас, что вы налоговая, поэтому тот раз сказали вам, что нет у нас магазина, и не открыли вам... Теперь вы к нам только приходите, у нас только покупайте...» Все три сельских магазинчика слово в слово сказали нам то же самое...

Когда гуляем по селу, жители здороваются с нами, мы здороваемся с ними. Хотя редко кто пройдет по улице – все работают, на полях, в домах, на огородах. Иногда мы даже умудряемся заплутать – или непроходимая лужа после дождя не дает пройти дальше, и приходится сворачивать в какой-нибудь переулок, или собака, да еще большая, стоит и смотрит так, что лучше сделать круг, чем рисковать...

И вот мы идем по улице, по которой до того ни разу не ходили. И везде буйная зелень, дома за высокими деревьями, и обязательно заботливая курица водит толь-

ко что вылупившихся цыплят; она вкоччет, вся распушилась, зовет своих цыплят и собирает около себя, она царапает и раскидывает когтями землю и траву, ищет букашек и зернышки, и кормит их.

На улице ни души... И вдруг мы видим, что возле одного дома стоит мужчина, пожилой, заросший черной щетиной, с багровым опухшим лицом; у него порвано ухо, и незаживший шрам краснеет и пылает на этом ухе и даже чуть на щеке. Мы уже привыкли, что местные жители всегда здороваются с нами. А этот вдруг не только поздоровался, но и очень настойчиво, как старый знакомый, стал приглашать к себе в дом на чай – наверное, потому, что мы очень уж с любопытством посмотрели на него, то есть на его живописный шрам. Мы вежливо отказывались, говорили, что в другой раз, но он не отставал; он распахнул настежь свою хлипкую калитку и так упорно просил зайти и выпить у него по чашке чая, что мы зашли, отчасти боясь обидеть его отказом и отчасти из любопытства; да и времени свободного у нас хоть отбавляй. Во дворе навстречу нам шел какой-то парень, тоже в замызганной одежде; увидев нас, он вильнул вдруг в сторону и исчез. «Это мой сын, сын это мой... – сказал хозяин и хрипло крикнул во всю глотку: – Эй, Ринат! Иди сюда! Чайник ставь! Гости!» Никто ему не ответил и не появился, и он махнул рукой и проворчал: «Ладно, сам поставлю... куда денется, придет...»

Мы зашли в дом, первое же помещение напоминало кухню – стояла заросшая грязью и жиром газплита вместе с газовым баллоном, у никогда не мытого окна маленький шаткий стол, на нем несколько тарелок с какими-то остатками, несколько мутных и липких стаканов, крошки и обрывки чего-то; невозможно было даже разглядеть, что на этом столе и сколько времени оно тут лежит; хозяин взял с плиты почерневший обгоревший чайник и стал наливать в него воду и одновременно пытался зажечь газплиту – а она никак не зажигалась, наверное, в баллоне закончился газ; мы обрадовались этому и тут же стали отказываться от чая – не то что пить чай, дышать было трудно в этом доме; запустение было полнейшее. Мы еле ушли, еле отвязались от прилипчивого хозяина, говоря, что придем как-нибудь потом, а он настойчиво провожал и провожал нас по улице.

Мы рассказали Амиру и Гульнаре про этого своего нового знакомого. «А-а, это Шамиль, – сказала Гульнара. – Он всю жизнь пьет. Пока жена живая была, он еще работал, трактор у него был. А как она умерла, он совсем спился, и ни трактора, ничего теперь нет... Жена у него хорошая была, все соседи, все ее любили; очень она хорошая была; она работала, дом на ней только и держался! Она и старший сын, он потом ушел из дома, не смог жить с отцом; а второй пьет вместе с ним...» Ну что скажешь на это? Родной отец пьет вместе с сыном...

Вечером коровы возвращаются из стада и разбрёдаются по дворам; некоторых высматривают и ждут на улице хозяйки; у коров полное вымя молока, они идут, покачиваясь, сытые и важные, и протяжно мычат, увидев знакомые ворота. И через некоторое время уже то в одном дворе, то в другом жужжит сепаратор – это хозяин, пристроившись на двух табуретах, крутит ручку сепаратора, пропуская через него только что подоенное молоко; эта работа долгая и утомительная, и хозяйке некогда этим заниматься; хозяин крутит и крутит ручку, и видно, как сливки чересчур тоненькой струйкой чересчур медленно наполняют подставленную посудину; и уже то там, то тут дымятся самовары во дворах, снуют домочадцы; кто-то уже энергично раскатывает тесто, и видно только, как быстро мелькают локти

и конец скалки; скоро будет ужин – жизнь делает резкий всплеск, перед тем как угомониться на ночь...

Сутулый маленький старичок-казах, крепкий и подвижный, подпоясанный широким кушаком, в тугой вязаной шапочке, торчком стоящей на его голове, заготавливает к себе во двор целый гурт овец, закрывает их в загоне; скоро ночь, и простоят барашки до первых лучей солнца, сытые травами и заботой хозяина. Куры, целый день копошившиеся в густых зарослях, спешат на зов хозяйки, которая сыпет им зерно; наклевавшись, с полным зобом тяжело взлетают куры на насест, пока не накрыла их куриная слепота; а хозяйка, нагнувшись, выходит из курятника с полным подолом еще теплых, гладеньких, белых и коричневых яиц...

В селе несколько давным-давно брошенных домов; все с высоким фундаментом, бревенчатые, когда-то добротные и красивые. Жалко смотреть на эти дома, полуразрушенные, с покривившимся резным крыльцом, с провалившимися и полусгнившими деревянными ступеньками, когда-то выкрашенными коричневой краской... Кое-где сохранился забор, а кое-где и нет, и видно заброшенный участок, очень большой – земли хватает – и заросший такой высокой травой, что даже коровы и телята не рискуют лезть сюда.

А потом в село стали переселяться оралманы. Рядом с нами, в пустующем доме, поселился оралман Кулбай с двумя сыновьями, дочкой и костлявой женой; он купил этот дом. Впечатление эти оралманы производили – как будто вырванные с корнем дерева. Я всегда считала, что трудолюбивый человек везде приживется, не пропадет; а эти оралманы были трудолюбивые; почему же тогда они сорвались с тех мест, где прожили долгую жизнь, где родились их дети, почему понесло их неизвестно куда, практически на чужбину... Сам глава семьи, Кулбай, высокий, жилистый и неразговорчивый. Он сразу отгородил во дворе большущий загон, и в этом загоне по ночам тесно стояли бараны. Баранов у него было много. Амир говорил: «Он тут жить не сможет. Он не знает, какая у нас тут зима, сколько снега выпадает. У него все бараны подохнут, где он столько сена возьмет, чтобы их прокормить? Продавать начнет, а кто у него купит дорого? Даром будет отдавать... я не знаю, кто их сюда переселил; все равно он тут жить не будет».

Но Кулбай жил; его дочка, самая младшая в семье, утром уже сидела на корточках перед новой тандырной печкой, разжигала ее и пекла лепешки; проходя мимо, мы здоровались с ней; она отвечала сдержанно и опускала голову, она не хотела ни с кем разговаривать. Она постоянно что-нибудь делала по хозяйству, и носилась по двору, как стрела. Иногда показывалась ее мать, тощая, закутанная в платок, она еле передвигала ноги; потом мы узнали, что она болеет со дня приезда.

Следующим летом Кулбай женил старшего сына; невеста была из другого аула; мы потом увидели эту невесту, то есть уже жену – она была приземистая, сбитая, вся как сгусток энергии; лицо широкое, напряженное, глаза так и бегают из стороны в сторону; она произвела ревизию кулбаевскому хозяйству и строениям и осталась недовольна; показывала пальцем в тот угол двора, где нужно было построить баню – без бани она не могла, показывала, где построить отдельный дом, чтобы жить в отдельном доме... Амир говорил на нее: «Чересчур старается, командует... А сколько баранов они у Кулбая взяли за нее! Только договорится он с ее родственниками, а они опять – еще прибавь. Он чересчур много баранов отдал за нее... Не будет она жить, увидите! Баранов забрали, а больше им ничего не надо». Я поражаюсь про-

нищательности Амира. Чтобы такой умный человек жил в селе, в глуши? Правда, он учитель; может, поэтому он такой умный и так все знает...

Новоявленная сноха и полгода не продержалась у Кулбая в доме, хотя даже баню по ее велению построили. Амир говорил, что она сама ушла, собралась в один день и ушла; а Кулбай говорил, что это они ее прогнали, потому что она много пила пива и уже и сына его, то есть мужа своего, начала приучать к пиву.

Следующим летом у Кулбая умерла жена; умерла тихо и незаметно – она так и не выздоровела и зачахла. А сам он продолжал приживаться на новом месте; его участок, так же, как и наш, спускался по склону до реки, и между рекой и склоном тянулась длинная и широкая полоса земли, абсолютно ровная; по сути, эта ровная полоса никому не принадлежала, но мы свой отрезок считали своим, а Кулбай тоже свой спуск с отрезком считал своим. Да и кто бы нам что сказал? Кулбай построил на своей ровной полосе загоны, соорудил длинные узкие корыта для овец и коз. Когда он все это строил и сооружал, нас не было в селе, и он залез со своими сараями и корытами на нашу территорию, перегородив нам дорогу к реке; если раньше мы ходили к Кокталу по протоптанной тропинке, то теперь нам приходилось продирааться сквозь высокие заросли крапивы – крапива тут стеной стояла, и мы брали в руки толстую палку и палкой этой пригибали кусты к земле, чтобы можно было пройти к нашему месту у реки, где был настоящий пляж – белый песочек и довольно глубокая заводь, куда мы окунались, крепко ухватившись за большие камни – а иначе унесет течением, и тут же выскакивали – вода была такой обжигающе-ледяной, что дыхание перехватывало и кожа моментально краснела.

Я часто смотрела, как новорожденные кулбаевские козлята, взбрыкивая тоненькими ножками, ходят по узким краям корыт, взбираются на самый верх загонов, на плоскую крышу, и с любопытством выглядывают оттуда вниз и перебирают копытцами; они были игручие, подскакивали боком, боком, словно внутри у них была заведенная пружина; все белые, один только черненький и пушистый, и от этого невероятно притягательный; можно было подолгу смотреть на этих козлят...

Следующим летом мы узнали, что Кулбай трагически погиб. Его коровы и телята каждый день переходили речку Коктал и паслись на противоположном берегу; там был светлый лесок, прохлада, и трава там была особенно нежной и сочной; корочке, коровам там понравилось. Вечером они возвращались домой, и дочка Кулбая доила их. А однажды вернулись одни коровы, без телят; Кулбай пошел на поиски; вода в реке чуть поднялась, и телята стояли на том берегу и боялись лезть в воду. А через реку уже сто лет тому назад была протянута толстая проволока, по которой местные жители переходили на ту сторону, держась двумя руками за канат, протянутый поверху. Так и надо было идти – руки над головой держатся и перебирают канат, а ноги скользят по проволоке. Местные жители очень ловко переходили таким способом реку, но только не мы. Ни разу я не решилась на такой подвиг.

Так вот, Кулбай подошел к реке, увидел толпившихся на противоположном берегу телят. Вода бурлила и прибывала, но Кулбай пошел по проволоке. Уже на самой середине резкий напор воды выбил у него из-под ног проволоку, и он повис на руках. А вода все прибывала и захлестывала его... Нашупать проволоку ногами он уже не мог, и он, видимо, умер от ужаса прямо на середине реки, у него разорвалось сердце. Его нашли на другой день в двухстах метрах от переправы, его прибило к берегу. Руки его были вытянуты над головой, словно он все еще держался

за канат, а пальцы скрючены, и их так и не смогли разжать; голова и лицо его были разбиты об камни, и узнать его было почти невозможно, но это был он. После этой трагедии два его сына и дочь исчезли из села; куда они уехали – никто не знал. Дом его разрушился, и его растащили кто на что. Теперь на месте дома только остатки фундамента, развалившийся забор, полуразрушенные саманные сараи без дверей, и ветер треплет забытую тряпку, прилипшую к кусту; и посреди всего этого одиноко стоит тандырная печка – новенькая, аккуратно обмазанная глиной. Все зарастает высокой травой и жгучей крапивой, и только голый загон, вытопанный кулбаевскими овцами, казалось, никогда уже никакая растительность не одолеет. Грустно было смотреть на все это... Амир говорил: «Он уже хотел уезжать отсюда, куда-то в сторону Дегереса, не успел... У него каждую ночь баранов воровали, несколько баранов. Он каждую ночь караулил, и вместе с сыновьями караулил, и все равно воровали. У нас умеют воровать. Да он все равно бы тут не жил...»

То, что «умеют воровать», нам сказала и Гулистанка. Река Коктал текла мощным потоком, но несколько рукавов от нее, широких настолько, чтобы можно было перепрыгнуть, прорезали густую рощу, или лесок, где мы любили собирать грибы. Или от близости воды, или от обилия мшистых, разрушенных и полусгнивших стволов больших деревьев, но грибов здесь было много: целое ведро можно было набрать иногда с крошечной полянки за один присест. Но как они умели прятаться, эти грибы! Собираясь в поход за грибами, мы звали с собой Гулистанку, а с ней всегда увязывалась ее собака, умнейшее животное – потом эта собака пристроилась к нам и по вечерам приходила в гости. Быстро смекнув, что именно мы ищем, шаря палкой по жухлой траве, собака эта находила грибное место, останавливалась и поджидала нас, и смотрела умными глазами; нам оставалась только успевать разгрести траву и листья и осторожно, чтобы не повредить грибницу, срезать грибы один за другим. Но зато и угощали мы потом собаку! Это она съела нашу единственную колбасу.

В этом лесочке, светлом, с прохладными ручьями, с огромными муравейниками, с лесной земляникой, продолговатой и нежной, с душицей и зверобоем на солнечных полянках, с кустиками цветущего тысячелистника, мы могли гулять до самого вечера; но ведра наши наполнялись быстро, и часа через два или три мы уже нагруженные шли домой; мы шли с одной мыслью – побыстрее перебрать и перемыть грибы, и нажарить целую сковороду, да с луком! И побыстрее усесться на матрасах вокруг скворчащей сковороды, предварительно закрыв дверь – днем в комнатке прохладно, и не хочется запустать жару...

Мы шли, а под ноги нам то и дело попадались пустые пластиковые бутылки из-под всяких напитков, и много валялось бутылок от водки; попался самодельный костер из двух кирпичей с кучей золы, с обгоревшими головешками. Гулистанка объясняла: «Это алкаши. Украдут чужую курицу, и жарят тут. Перья сжигают. Водку пьют. Мусор никогда за собой не убирают. Видите, сколько валяется... это все они». Мы видели; удивительно было то, что такого количества жителей не было в селе, сколько валялось пустых бутылок... А эти костры, то и дело попадающиеся в укромных местах? И некоторые костры совсем свежие...

По утрам мы ходили за молоком на соседнюю улицу; там жила одинокая бабушка с больными ногами; она держала корову и сдавала молоко; все жители села сдавали молоко; каждое утро и вечер по селу проезжала машина с цистерной и

сигналила, и хозяйки, издавек заслышав сигнал, выходили с полными ведрами только что надоевшего молока и ждали у своих ворот; шофер принимал молоко, выливал в цистерну и записывал в тетрадь; и так изо дня в день. Когда я узнала, сколько платят хозяйкам за литр молока, я лишилась дара речи. В несколько раз меньше, чем это стоило бы в городе! Да и какое молоко в городе и какое здесь! Да еще хозяйки жаловались: «Деньги он выдает понемножку, частями... сколько мы просили его – ты отдавай нам сразу за месяц, чтобы мы могли хоть что-то купить на эти деньги. Хоть мешок сахара, хоть муки... а то что это – даст за несколько дней копейки, и ничего на них не возьмешь, кроме хлеба...» Когда я брала у бабушки молоко, у меня рука не поднималась платить так мало, и я отдавала в два, в три раза больше, чем она получила бы от предприимчивого шофера. Бабушка радовалась, как ребенок. «Вот бы мне всегда таких покупателей...» – говорила, стоя на раскорячку на своих больных ногах и всегда держась за что-нибудь. Я спросила ее, почему она не поедет в город, в больницу, почему не лечится...

И она рассказала, что ее надоумили как-то поехать в город в больницу и в собес – у нее ноги болели так сильно, что она надеялась получить пенсию по инвалидности. «И что?» – спросила я. «Ничего мне не дали, даже разговаривать не стали, и еще сказали, чтобы я больше не приходила и ничего мне не положено...» Я смотрела на искривленные, изуродованные ноги бабушки, на торчащие наросты из-под юбки, смотрела, как она ходит как на ходулях, не сгибая коленей и размахивая руками, и меня злорадно охватила; не злость, а злоба. «А вы не слушайте! Вы знаете, что сделайте – поезжайте снова в город и зайдите к ним с чистым листком бумаги и с ручкой, и скажите – назовите мне ваши фамилии, я все в газету напишу про вас, как вы обращаетесь с людьми. Они напугаются, вот увидите! У нас самый захудалый начальник никого и ничего не боится, а вот в газету попасть у нас все боится. Вам сразу и инвалидность дадут, и пенсию. Вы свое требуете, а не ихнее; вам положено. Кому же они тогда инвалидность дают? Мертвым, что ли? Как же вы с такими ногами корову держите?» – «Ой, доченька! Я и огород свой сама копаю, и картошку сажу, правда, соседа зову, сосед мне помогает. Потихоньку-потихоньку, а двадцать мешков картошки накопили мы с ним. И в сарай перетаскала, волоком волокла понемножку. Вот будут ездить, менять на картошку помидоры, лук, я и поменяю мешка три-четыре. А будет покупатель, так и продам». – «Давайте я у вас куплю! Сколько я увезу – ну мешка два я увезу! Подъедем на машине, и я загружу. Вы знаете, я торговаться не буду, сколько скажете, столько заплачу».

За молоком мы всегда ходили рано утром; коровы в это время уже подоены и выгнаны в стадо, и хозяйки копошатся по хозяйству и с детьми; хозяин – работающий – давным-давно уехал на тракторе в поля или на сенокос, возить высушенное сено; село словно вымирало. И вдруг я увидела молодого парня, который торопливо, деловито шел куда-то; шел – это ничего, но в руках он держал бутылку водки; и это бы ничего – водку же не возбраняется покупать, тем более в магазинчиках она никогда не переводилась, не то что колбаса; но у парня было такое хамское, такое довольное выражение лица – только у алкаша, который держит возделенную, готовую бутылку водки, может быть такое выражение. Я оскорбилась за село; я остановилась с пустой банкой в руках и сказала повелительно: «Здравствуй!» Он чуть споткнулся, повернул голову и поздоровался в ответ: «Здравствуйте!» – сказал и пошел было себе дальше. «А ну-ка иди сюда!» – уже не только повелительно, но и грозно сказала я. Он внезапно остановился и снова оглянулся. «Иди, иди сюда!» –

сказала я и сделала строгое лицо. – Тебя мне и надо! Ты знаешь, что из Алма-Аты комиссия приехала, специально выявлять таких вот пьянчуг! Ты какое имеешь право с утра бегать по селу с водкой? Ты знаешь, какой ты пример подаешь, на тебя дети смотрят! Ты какое имеешь право подавать такой пример детям? Вот комиссия всех вас перепишет, таких вот алкашей, и на работу. Работать надо с утра, а не бежать с водкой по улице!» Парень сначала остолбенел; он не знал, верить или нет, и стоял в нерешительности; по его лицу видно было, что он испугался; он боялся уйти и стоял и колебался. Но меня, видимо, подвели шлепанцы на ногах; комиссия из Алма-Аты – и в шлепанцах да с трехлитровой банкой... Когда парень понял наконец, что никакая перед ним не комиссия, лицо у него тут же просветлело и опять приняло хамское выражение, и он сказал с вызовом: «Много вас тут учителей на мою голову...» «На твою голову? – разозлилась я. – Ты что, хочешь сказать, что у тебя голова есть? А что ж ты тогда с утра с водкой бегаешь? Да была бы у тебя голова, да был бы ты мужик, ты бы сейчас работал, а не бегал бы с бутылкой! Ты посмотри на себя, молодой парень, а весь трясешься, так тебе выпить охота! А еще говоришь, что у тебя голова есть! Может, у тебя и есть голова, только в голове у тебя ничего нету!» Парень махнул рукой и пошел себе дальше... Он сгорбился, втянул голову в плечи и пошел, и ноги у него заплетались. Но бутылку он двумя руками бережно прижал к груди.

А у меня в голове кипела мысль – создать комиссию, переписать алкашей, да на работу всех. Сначала в рощицу – пусть уберут мусор, который они же и накидали...

В селе в каждом дворе была своя водокачка – из нее качали питьевую воду; для стирки же, для мытья посуды или чтобы налить в умывальник, воду брали из арыка. Вода в арыке была холоднющая и чистая, вполне пригодная и для питья. Но государство на то и дано, чтобы заботиться о своих гражданах и улучшать и облегчать им жизнь; и вскоре все жители узнали, что уже весной в их селе начнут строить водопровод, и на каждой улице будет стоять по несколько колонок, откуда жители будут таскать воду на своем горбу к себе в дома и во дворы. Жителям не понравилась такая затея, и они дружно написали коллективное письмо, прося избавить их от водопровода – не хотели они таскать воду ведрами с улицы, когда вода вот она, в каждом дворе есть... Жители говорили: «Нас еще и платить заставят за воду! Для чего, думаете, они это делают – чтобы деньги с нас содрать! А что с нас драть-то...»

Но письмо это почему-то не возымело никого действия, и вскоре в село нагнали технику – трактора и экскаваторы; как начали эти экскаваторы рыть траншеи! Да глубокие, да на каждой улице! Если раньше дороги были утопанные и ровные, то теперь не то что ездить, ходить стало трудно по этим дорогам – мало того что горы земли высились теперь на каждой улице вдоль траншей – земля-то утрамбовалась бы со временем, но огромные валуны валялись теперь на дорогах, не давая ни пройти, ни проехать. Надежда была на то, что трубы уложат и траншеи засыпят. Но трубы уложили, а траншеи никто не засыпал, а мальчишки лазали по горам земли, заглядывали в ямы, а тут выяснилось, что экскаваторщики и трактористы собрались уезжать, оставив все как есть, в раскуроченном виде. Жители кинулись к ним и перегородили дорогу. «Куда же вы? Вы же еще траншеи не засыпали! Раскопали нам тут все и теперь уходите?» А экскаваторщики ответили: «Нам зарплату

уже несколько месяцев не платят, поэтому мы работать тут больше не будем. Вот как заплатят, так приедем и все сделаем. А сейчас нам на другой объект надо, мы не можем простаивать, нам деньги нужны, у нас семьи». Жители кинулись к начальству, которое сидело в другом селе, написали снова коллективное письмо с коллективной жалобой. Пока письмо читалось начальством, сельчане собрали кое-какие деньги и уговорили экскаваторщиков и трактористов засыпать траншеи. Траншеи кое-как засыпали. Но огромные валуны, не говоря уже о камнях поменьше не влезли в траншеи и так и остались валяться на дорогах.

А колонки стояли теперь чуть ли не на каждой улице и на каждом углу; но воды в них не было, сколько ни нажимаешь на ручку; жители говорили: «Сначала текла какая-то ржавая водичка, и то тоненькой струйкой. А потом и совсем перестала. И зачем нам водопровод? А ведь мы просили, мы письмо писали, что не надо нам никакого водопровода. Только улицы все испортили, ни одна машина теперь проехать не может... трактора, те ездят, а машины бьются».

Но зато на окраине села, возле зеленого лесочка, на ровном и тенистом пространстве благодаря водопроводу построили что-то грандиозное; обнесено оно было высоким, непроницаемым, массивным и крепким забором из дорогого бутового кирпича; сам забор был красно-коричневого цвета, а углы, переходы, столбы для ворот и для калитки были выложены в виде тумб из темно-серого, почти черного бута, и сверху были украшены козырьками из черепицы. Знающие люди говорили, что один этот забор стоит миллионы и миллионы. Но это забор... Над забором же, в глубине, сквозь зеленые ветки деревьев виднелась крыша; крыша была великолепная и такая же новенькая, как и забор; крыша блестела на солнце новенькой черепицей, и черепица эта так гармонировала по цвету и по форме с бутовым камнем, из которого был выложен забор – архитектор попался стоящий и постарался на совесть. Внушительные ворота и калитка были всегда заперты на ключ, но знающие люди говорили, что внутри живет охрана и обслуживающий персонал, и что они все получают зарплату, и вроде бы неплохую. И еще они говорили, что все это сооружение не что иное, как доказательство того, что водопровод в селе благополучно существует, что приезжала комиссия принимать водопровод и ей дня два, если не три, показывали не кривые колонки по всему селу, а это строение; причем строение это показывали сначала снаружи, а потом изнутри, и не один баран время от времени исчезал за массивной калиткой, и после этого пахло сурне и шашлыками на весь зеленый лесочек. И это не всё – это сооружение (насосная станция) – неоднократно фотографировали со всех сторон и снимки прилагали к каким-то документам опять-таки как доказательство существования водопровода. А ведь был способ сделать это гораздо дешевле, и проще, и достовернее – просто спросить у жителей, получили ли они водопровод и довольны ли они этим водопроводом; а еще лучше самим нажать на ручку и попробовать выжать воду из колонки. Местные же жители на себя махнули рукой, они надеялись только, что к тому времени, когда внуки их подрастут, дороги наконец снова утрамбуются коровами и лошадьми и станут такими же, как до водопровода, будь он неладен.

В последнее время мы не успевали удивляться бурным переменам в селе. Когда в очередной раз приехали на лето, то увидели, что на противоположной окраине села – на этот раз на голой окраине, без единого кустика – начали возводить новую школу, современную и двухэтажную. Звучит это очень хорошо – современная и

двухэтажная новая школа. Но наши знакомые Амир и Гульнара волновались – учеников не хватает, в некоторых классах сидят на уроках уже только по три, а то и по два ученика... Оказывается, школу эту должны были построить давным-давно, когда в селе было еще много учеников, но почему-то не построили. А теперь вот начали строить.

Школа эта немножко странно выглядела – на отшибе, окруженная реденькими металлическими прутьями, она одиноко возвышалась на краю совершенно голого поля. Почему-то вокруг была грязь, и пройти к школе можно было только по узкой протоптанной дорожке, начало которой терялось где-то в зарослях. В школьном буфете продавали горячие пирожки, и мы однажды решили пойти и купить себе пирожков. Видимо, мы пошли не по той дороге, и с полчаса мы кружили вокруг да около, не зная, как подобраться к школе, мы везде проваливались в грязь; мы уже устали и отчаялись, когда вышли наконец на сухую тропинку. Пирожки действительно продавали в буфете, но нам они не достались, их уже раскупили, пока мы, наконец добравшись до школьных дверей, топали ногами, пытаясь избавиться от грязи, прилипшей к нашей обуви...

Амир и Гульнара рассказывали: школа двухэтажная, современная, просторная и светлая, а классов для занятий не хватает. Как не хватает, почему – не понимали мы. А потому, что почти все помещения учителя и начальство расхватили себе по кабинетам, и классов осталось мало; хорошо, что и учеников мало... И еще они рассказали нам, что отопления в школе до сих пор нет, но истопник уже есть, и он работает, только пока без зарплаты; истопник, старый дед, целый день сидит в подвале и ждет, когда приведут печника, который должен к зиме построить в школе печку; дед будет без перерыва топить эту печку, и тогда уже ему будут выдавать за это заработанные деньги...

Получилось так, что одно лето мы пропустили, не смогли поехать в село; мы много чего лишились – земляники, трав, а главное, картошки, не говоря уже об успокоении нервов при виде сельских пейзажей. Всю зиму мы промучились, таская картошку из магазина целыми сетками и пакетами; ни разу не было, чтобы ровно половина, а то и больше (ну уж точно не меньше!) не ушла в отход. Можно было только удивляться, кто выращивает такую картошку и кто ее хранит, и кто ее продает, и кто ее покупает; и зимы-то как следует не было, а картошка уже подмороженная и сладковатая на вкус; даже если на вид она более-менее привлекательная, то стоит только начать ее чистить... куча отходов росла в два раза быстрее, чем сама почищенная картошка.

Так вот, пропустив одно лето, мы наконец приехали в наше село. К своему, то есть к кемпирбаевскому дому мы не смогли проехать – трава стояла стеной на всю улицу, и даже пойти пешком мы не рискнули, побоялись крапивы выше человеческого роста и густых зарослей. И мы повернули к дому Амира и Гульнары; проехали мимо грустного запустения бывшего кулбаевского двора; а вот и амировский участок, его забор, калитка. Остановили машину у забора; нам показалось, что вокруг подозрительно тихо, и из калитки никто не вышел; мы посигналили – и снова никто не вышел; присмотрелись и увидели, что калитка прикручена проволокой снаружи – значит, дома никого нет; еще покричали на всякий случай, но никто не вышел, никто не откликнулся. Первая наша мысль была – вся семья собралась и уехала куда-нибудь в гости, на чью-нибудь свадьбу...

И мы поехали к Валентине. Она жила через две улицы; у нее был небольшой чистенький уютный домик, и, как принято, во дворе летняя кухня. В дом заходили только спать, а весь день кишели и толпились на кухне и во дворе, если не было дождя. Валентина – удивительная женщина; при ее трудолюбии и самоотверженности для семьи она должна была жить не хуже, чем наши знакомые Амир и Гульнара. Но она жила хуже, намного хуже; муж у нее пил – отсюда полуразрушенные сараи, протекающие крыши, плетень весь в дырах, и соседские телята то и дело вытаптывают ее огород. Но муж ее не был похож на алкаша; утром он завтракал вместе со всей семьей – Валентина обычно по утрам варила кашу, благо молоко свое, – а потом исчезал. Мы вначале спрашивали у него: «Ты на работу?» Он отвечал: «По делам... съездить надо», – и исчезал на целый день. Валентина говорила: «Какие у него дела? Сарай вон развалился, забор упал, починить надо... насадка цыплят вывела, и все цыплята утонули, ни одного не осталось, столько воды натекло в курятник от дождя. Нет бы крышу починить. Мне цыплят жалко! А ему хоть бы что...»

Он возвращался вечером, и вид у него был довольный: глаза масляные, лицо покрасневшее, как от хорошей еды; от него, конечно, пахло водкой, но в меру. Первым делом он начинал нянчить внука – хватал его за ногу и держал вниз головой, а сам поглядывал на Валентину; а она ничего не говорила, упорно молчала. Он отпускал внука, отходил в сторонку, садился на скамейку под яблоней и доставал сигареты и зажигалку – курить. Внук сразу же бежал к Валентине и прятался у нее под фартуком, и оттуда показывал деду свой маленький крепкий кулачок и корчил на него рожи. Валентина говорила мне шепотом, а сама гладила внука по голове: «Видите, что делает... это он нарочно; знает, что у меня все внутри переворачивается, когда он вот так держит его вниз головой. А вдруг уронит! Руки-то у него уже не те, дрожат... Весь день болтался где-то, а теперь вон сидит и курит... и дети к нему так же. Вы заметили, они к нему никак не обращаются? Как будто его нету. А ведь мог бы заработать, да купил бы барашка, поехали бы мы все вместе на речку, шашлыков бы нажарили. Хоть раз за лето! А как еще жить с семьей... Нет, ничего ему не надо... хоть бы картошку прополос; и этого не допросишься...»

Чай у Валентины мы тоже пили из самовара; но чай у нее был совсем другой, не такой, как у Гульнары; чай у Валентины был светлый и ароматный – она заваривала травы, которые собирала все лето, заваривала сушеную землянику, и даже срывала листья с яблони, которая росла тут же, раскинув ветки над столом; она срывала листья и со смородины, и можно только представить себе, какой получался у нее чай... но мы почему-то предпочитали Гульнарин чай – крепкий, густой, с плавающими сливками, очень вкусный и сытный чай...

Валентина рассказала нам про Амира и Гульнару; учеников осталось так мало, что учителей сократили, и Гульнара, и Амир оба попали под сокращение. Конечно, они пытались что-то предпринять, чтобы не сократиться, но у них не получилось – Амир не ладил с директором школы. «А они разве будут без работы, – говорила Валентина. – Они оба вон какие! Они тут-то как жили! Все у них было! Они где-то под Талды-Курганом теперь живут, дом там купили, там мать у нее, и сестры». «А этот дом как же? Не продали они его?» «Да кто купит? Я вон насчитала – в нашем селе больше двадцати домов пустует... да что далеко ходить – видите вот этот дом, вот, напротив меня – тоже уехали, тоже продают. Вот вы купили бы, мы бы соседями с вами были...» – «Так у нас же кемпирбаевский дом! Зачем нам!» – «Да

вы к кемпирбаевскому дому уже и не пройдет, все заросло. Вы там теперь совсем одни, никого нет, там даже страшно, как там ночевать. Когда Амир с семьей жил по соседству, и Кулбай был рядом, тогда можно было...» – «А Амир будет продавать свой дом?» – «Наверное... вроде присматривает за домом какой-то сосед, вроде Амир ему и продать поручил, если покупатель найдется. А откуда здесь покупатель... Хотя я слышала, что аким наш хочет построить у нас в селе какой-то то ли санаторий, то ли дом отдыха, то ли еще что-то... я толком не поняла. А давно бы надо! Ведь места у нас какие красивые! Вот он и хочет что-то строить, вроде бы даже для иностранцев, чтобы они на лошадях ездили, в горы на охоту... вот он и собирается вроде бы скупать участки. Вот было бы хорошо! Работа у нас у всех была бы! А то вон мой Олежка – мотается в Талды-Курган, пассажиров возит; а что заработает, все на ремонт машины уходит. Была бы у него машина хорошая, он, может, и зарабатывал бы; а где он возьмет хорошую? В прошлом году егерем вроде бы устроился, тут же, у нас... так он долго не проработал... он не то что зарплаты своей никогда не видел, а еще начальство постоянно его дергало – то это им, то то, где хочешь найди и принеси им водки... вот он и уволился и уехал в Талды-Курган, санитаром там устроился, в дом в такой, где умалишенных держат; там хоть платили, хоть и копейки. А это в Талды-Кургане, далеко, и он ездил... а потом говорит мне – если я оттуда не уволюсь, я сам с ума сойду. А что я скажу – уходи, говорю, сынок, увольняйся...»

Муж Валентины сидел в сторонке и курил; он прислушивался к разговору и вдруг сказал: «Не будет аким здесь ничего строить! Не знаешь и не говори! Он только начал скупать участки, только подумал, а на него уже донос написали! Он теперь тихо сидит. Может, потом когда-нибудь, когда все успокоится... А один раз, я тогда молодой был, к нам приезжал на охоту иностранец. Это при советской власти было, я неженатый еще был. Брат у меня лесником работал, здесь же, у нас, и говорит мне – приехал немец из Германии, охотник, архара хочет застрелить и сфотографироваться, ты помоги архара для немца загнать, еще и заработаем с тобой, немец нам заплатит. Ну я согласился, что мне... А брату из обкома приказывают – чтобы немца обслужить как положено, чтобы и архар, и все было – немец хорошие деньги заплатил за эту свою охоту. Вот мы поехали в горы; а немец с собой семь человек привез из Германии, всё он привез – там и стол у него, и кровать какая-то складная, и печь у него своя, и всякие посуды – всё, что ему надо. Эти семь человек остались со всем хозяйством на полянке, сразу начали там раскладываться, а мы пошли с немцем в горы. Полдня гоняли мы с братом архаров, наконец загнали одного; немец начал прицеливаться; и так прицеливается, и так, пока повернется со своим ружьем, пока выстрелит – архара уже и следа нету... снова давай мы с братом гонять, снова загнали ему архара; а он опять прицеливается, прицеливается... он старый, семьдесят восемь лет ему тогда было, какой уже с него охотник, хотя на вид был бодрый; мы с братом думали, что самое большее дня два с немцем пробудем в горах, а тут, смотрим, он и через неделю никого не застрелит. А из обкома приказ – пока не застрелит и не сфотографируется, никуда от немца, ни на шаг... Тогда брат говорит мне – как загоним архара, ты выстрели с другой стороны, вместе с немцем, ты не промахнешься, а немец подумает, что это он застрелил. А то мы от него не избавимся. Так мы и сделали; загнали мы здорового архара; немец опять давай прицеливаться; ну я и выстрелил, и он выстрелил. Немец подходит к архару, и так смотрит, и так... и вдруг как покраснеет, как закричит – я сейчас

в полицию, я на вас донесу, я в суд подам на вас! Это не я застрелил! Это вы застрелили! Вы не имеете права стрелять! Я вас засужу! – и уже пошел... Как мы кинулись перед ним на колени, как давай его упрашивать! Еле уговорили. И ведь не захотел он с нашим архаром фотографироваться. Ни за что не захотел! Так и пришлось нам опять гонять архаров, пока он сам не застрелил. Вот тут уж он был довольный. Подошел, и ногу поставил на архара, и за рога его подержал, и повсякому с ним фотографировался. Он нам потом показывал фотографии, как он на тигра охотился, где-то в Индии, что ли, сейчас уже не помню; но тогда он молодой был. Мы для него шкуру сняли с архара, вместе с головой, все как положено. Он своему повару велел только печень для себя приготовить, и только печень и съел; а остальное мы вместе с его немцами съели. Потом он нам с братом дал по такой вот пачке денег; мы взяли, смотрим – а это немецкие, марки ихние; а мы думали, деньги даст, наши... а в то время куда марки девать? Так и валялись они, то дети играли с ними, потом затерялись куда-то... сейчас бы эти марки! О, что я на них сейчас купил бы! Богатый был бы!»

В этот свой приезд мы жили у Валентины; она отвела нам комнату в доме, и мы уютно обосновались там. Нам было хорошо у Валентины. Она уже спала с внуками и всей семьей – им рано вставать, а мы выходили во двор. Кругом была густая, непроницаемая темень, а мы смотрели на небо; и снова мы видели бесчисленное количество звезд, одни крупные и близкие, а другие мелкие и далекие, далекие... И звезды эти мерцали холодным блеском... кругом буйные заросли, а за ними, там, где шумит река, стоит разрушенный кулбаевский дом, стоит опустевший амировский дом, и позади темнеет вахтинский дом – тоже без хозяев, которые недавно уехали из села, забрав детей...

А мы смотрели на небо – будто все звезды Вселенной собрались над нашим селом; мы видели Большую Медведицу и Малую Медведицу, мы видели Млечный Путь; мы видели, как мерцающий спутник проворной точкой пробирается между звездами; и снова мы видели, как стремительно падает звезда и чертит по небу свой яркий, яркий след...

